

Викентий Викентьевич Вересаев

На эстраде

**Викентий Викентьевич
Вересаев**

На эстраде

Большая зала была ярко освещена. На широкой эстраде, за столиком с двумя свечами, сидел писатель Осокин и, напрягая слабый голос, читал по книге отрывок из своего рассказа. Зала была переполнена публикою, но в ней было тихо, как в безветренную сентябрьскую ночь в поле. Когда Осокин отводил взгляд от книги, он видел внизу смутное море голов и сотни внимательных глаз, устремленных на него...

Осокин был бледен. Читал он неразборчиво и плохо, и на душе у него было странно: он читал самое задушевное и дорогое для него из всего, им написанного; перед ним живьем находился тот невидимый, далекий читатель, которого ему так всегда хотелось увидеть; а между тем то, что читал Осокин, в его собственных ушах звучало чуждо и фальшиво, а слушатели казались совсем не теми читателями, для которых он писал.

Ему все больше хотелось поскорее кончить. Он стал пропускать одни фразы, комкать другие. Вот, наконец, абзац, отчеркнутый синим карандашом... Конец!

Осокин закрыл книгу и встал. Море голов

сразу всколыхнулось, со стен и с потолка с оглушительным треском как будто посыпалась штукатурка: это загремели рукоплескания. Осокин неуклюже поклонился и, кусая губы, с бледным, злым лицом, вышел через маленькую дверцу в "артистическую".

Из залы неслись рукоплескания. Перед зеркалом молодая декольтированная дама, которой предстояло петь после Осокина, дрожащими от волнения руками оправляла прическу. Отыгравшая уже толстая дама-пианистка внимательно смотрела на Осокина. За столом с закусками распорядители угощали и занимали артистов и артисток.

Господин средних лет, с черною бородкою и в золотом пенсне, подхватил Осокина под руку и, оживленно говоря что-то, сел с ним на диван. Осокин не знал, где и когда познакомился с господином, но тот держался с ним как хороший знакомый.

– С успехом!.. Вот это так успех! – говорил господин. – Слышите, как беснуются? Никому так не хлопали!.. Нужно выйти, раскланяться.

– Ну их к черту! – сердито ответил Осокин.

– Нельзя, Сергей Васильевич, нельзя! – про-

изнес господин с улыбкою, с какою обращаются к милым, но ничего не понимающим детям. – Как-никак, а нужно уважать публику.

В артистическую вбежал распорядитель с розеткою в петлице.

– Всё вас зовут, кричат! – с почтительною улыбкою обратился он к Осокину.

– Пускай! Я не пойду! – упрашивающе сказал Осокин.

– Нет, нет, нет! Нельзя, никак нельзя! – неумолимо воскликнул господин в пенсне, шутливо взял Осокина под руку и заставил его встать.

Распорядитель приятно и почтительно улыбался.

– Барышни всю воду распили по глоткам из стакана, из которого вы отхлебнули во время чтения, – сказал он.

– Вот бабье! – презрительно усмехнулся Осокин, и углы его губ самодовольно задрожали.

Он вздохнул и пошел на эстраду. Зала загремела и заревела. Публика покинула места, теснилась вокруг эстрады и на самой эстраде. При входе Осокина толпа раздалась. Он видел

вокруг свежие девические лица с устремленными на него блестящими, восторженными глазами.

– Осо-о-окин! Bis!! – зычным басом кричал высокий студент, старательно и оглушительно-громко хлопая в ладоши.

– Bis! Bis! Осокин! – звенели женские голоса, и девушки хлопали, стараясь хлопать громче.

Осокин с сдержанною улыбкою неуклюже кланялся. Когда он повернулся, чтобы уйти, девушки загородили ему дорогу и, смеясь, продолжали хлопать и кричать "bis!". Распорядитель высунулся и протянул Осокину книгу.

– Bravo! Bravo! Vi-i-i-is!! – радостно и еще сильнее закричали кругом.

Осокин, улыбаясь, развел руками и покорно раскрыл книгу.

– Шш-шш-шш!.. – понеслось по зале.

Он помолчал, сделал серьезное лицо и стал читать из книги другой отрывок. Теперь то дорогое ему и задушевное, что было им написано, казалось Осокину красивым и эффективным, и он гордился, что мог так напи-

сать; публика стала близкою и милою, и в то же время он испытывал к ней снисходительно-презрительное чувство.

Овации и вызовы тянулись долго. Осокин читал еще три раза и, наконец, объявил, что у него нет больше голоса. Только тогда публика стала понемногу утихать.

На эстраду вышла декольтированная певица, с трубочкою нот в руках, в сопровождении аккомпаниатора во фраке.

Dans le printemps de mes années

Je meure, victime de l'amour...-

[В весну своих лет я умираю жертвой любви (франц.)]

запела она.

Осокин вместе с господином в золотом пенсне прошел через значительно обезлюдившую залу в буфет. Здесь былолюдно и шумно.

– Что ж, чайку, что ли, выпьем? – сказал Осокин. – Займите местечко, а я пойду чай добывать. Тут лакеев не полагается.

Вокруг длинного стола теснилась толпа; стол был заставлен стаканами и тарелками с

бутербродами; за самоваром две распорядительницы разливали чай. Осокин вмешался в толпу и стал осторожно протискиваться к столу. Окружающие почтительно косились на него и давали дорогу; Осокин делал вид, что не замечает обращенных на него взглядов, и старался держаться так, как будто и не подозревал, что кто-нибудь из окружающих знает его.

– Виноват! – с особенно предупредительною и извиняющеюся улыбкою говорил он, если задевал кого локтем или загораживал дорогу выбирающемуся из толпы.

Наконец Осокин добрался до стола и попросил два стакана чаю. Стоявшая рядом девушка в голубой кофточке, перетянутой широким кожаным поясом, обернулась на звук его голоса, узнала Осокина и, сделав безразличное лицо, быстро отвернулась. Распорядительница налила два стакана; Осокин потянулся к ним мимо своей соседки. С тем же неестественно-безразличным лицом девушка взяла стаканы и передала их Осокину, своими озабоченно нахмуренными бровями показывая, что ей до него нет решительно никако-

го дела. И вдруг, в последний момент, когда Осокин брал из ее рук стаканы, девушка вспыхнула, в ее детски-ясных глазах мелькнуло радостное смущение, и она быстро опустила глаза.

Осокин, скрывая улыбку, сел со стаканами к столику, где уже занял два места господин в пенсне. Подошли знакомые. Осокин разговаривал, чувствуя устремленные на себя со всех сторон внимательные взгляды. Эти взгляды совершенно парализовали все его обычные, естественные движения; тело стало пружинным, как у автомата. Осокин наблюдал за собою и с отвращением прислушивался к счастливому, довольному смеху, дрожавшему в глубине его груди.

Напившись чаю, они пошли в залу послушать балалаечников. Осокин переходил из рук в руки, с ним познакомились наперерыв. Господин в пенсне сообщил ему, что с ним желает познакомиться графиня Энтведер-Одер. Он подвел к ней Осокина. Графиня усадила его рядом с собою и, играя лорнетом, заявила, что она "большая поклонница его прелестных произведений" и что давно иска-

ла случая познакомиться с ним.

Часы шли. Осокин ходил по залам с скромно-приветливым видом принца, соблюдающего всем известное инкогнито. Он чувствовал этот свой скромно-гордый вид, и отвращение все больше охватывало его. Но овладеть собою он не мог, и ноги против воли ступали по паркету с какою-то нелепою торжественностью. А кругом все по-прежнему – эти сотни устремленных на него почтительно-внимательных, любопытствующих взглядов.

На Осокина вдруг нашло странное настроение, которое иногда в людных местах неожиданно находило на него. Как будто что-то спало с его глаз, и все люди, даже близко знакомые, вдруг стали новыми, с какими-то странно-чуждыми и все выдающими лицами. И он с удивлением приглядывался к этим лицам и видел ярко отпечатанный на них душевный холод и беспросветное довольство собою. Что тянет этих людей к нему, и кто это сам он – этот мелкий, тщеславный человечек, гордящийся красотой и увлекательностью своего припечатанного к бумаге чувства?..

Осокин все сильнее чувствовал, что между ним и окружающими есть какая-то крепкая, тайная связь, есть безмолвное соглашение, которое каждый держал про себя и ни за что не высказал бы другому.

Вечер кончился. Толпа густым потоком повалила к выходу.

Осокин спускался в толпе по лестнице. Вдруг наверху, около перил, какой-то молодой, сильный мужской голос крикнул на всю лестницу:

– Осо-окин!.. Ура!

Словно искра пробежала по всей веренице; раздался взрыв оглушительных рукоплесканий.

– Осо-окин!.. Осокин!..

Осокин, бледный и растерянный, остановился на площадке лестницы. Со всех сторон кричали:

– Спасибо!.. Спасибо вам!

Закусив губу и тяжело дыша, он молча смотрел на рукоплескавших и слушал обращенные к нему крики.

Рукоплескания становились гуще, сильнее и настойчивее. Толпа, спускавшаяся с пло-

щадки дальше по лестнице, остановилась и оборотилась к Осокину, загораживая ему дорогу. Все как будто ждали, чтоб Осокин сказал что-нибудь.

Осокин все больше бледнел и молча, не кланяясь, смотрел на кричавших. Что ему было сказать? Он знал, что в таких случаях следовало говорить; дрожащим от волнения голосом он должен был объявить, что эта минута – лучшая в его жизни, что она составляет самую высшую награду за его труд. Но Осокин чувствовал, напротив, что эта минута – нечто ужасное, что она болезненно-ярко осветила перед ним все те сомнения и колебания, которые давно уже нарастали в душе.

Глаза его блеснули. Он вскочил на подоконник и стал говорить.

– Шш-шш-шш!.. – нетерпеливо понеслось по лестнице. Вокруг стихло.

– Господа!.. – начал Осокин, задыхаясь. – Я вижу, я всем вам очень чем-то угодил. Мне хотелось бы выяснить, чем именно заслужил я те восторги и овации, которыми вы сегодня так щедро осыпали меня... Идет великая рать бойцов на великое освободительное дело. Я –

рядовой этой рати, ну, может быть, один из ее... барабанщиков, что ли? Но разве такие почести, какие вы сегодня воздали мне, выпадают на долю простым барабанщикам? Нет, дело тут в чем-то другом... За что же вы благодарите меня? За "чудные звуки", за наслаждение, которое я даю вам своими... "прелестными произведениями"? В таком случае, господа, вы ошиблись адресом. Идите к тем, для кого эти "чудные звуки" составляют цель и высшую правду; для меня же они – высшая ложь, самое ужасное проклятие искусства, и благодарить меня за доставляемое наслаждение – это злая насмешка или обидное признание моего бессилия. Я вовсе не хотел доставлять вам наслаждение, – я хотел вас мучить, терзать... Но нет, вы и не скажете, что благодарите меня за доставляемое наслаждение – по крайней мере большинство из вас. Вы благодарите меня, конечно, за те "чувства добрые", которые я пробудил в вас великою силою искусства.

Да, сила искусства велика, но сила его – во все не в способности пробуждать "добрые чувства". Проклятая и развращающая сила

искусства заключается в том, что оно самым невероятным образом перерождает и уродует всякое чувство, всякое душевное движение, вызываемое действительностью. Художник замахивается на жизнь бичом, но в момент удара бич его превращается в мягкую гирлянду душистых ландышей. Он подносит к людским сердцам огонь, способный зажечь и двинуть камень, а людские сердца в ответ начинают тлеть чуть теплым огоньком мягкой и бездеятельной душевной потрясенности. Подобно буферу вагона, искусство дает человеку возможность легко и приятно переживать все самые тяжелые душевные толчки. И вот за это-то буферное действие искусства вы, в действительности, так горячо и благодарите нас... Господа, будем говорить начистоту! Конечно, вас привлекает и захватывает в нас не красота. Что красота! Мы вам даем возможность переживать чувства сильнее и поприятнее чисто эстетических. Вы переживаете с нами два самых высших счастья, какие только знает жизнь, – счастье борьбы и счастье всезахватывающей любви к человеку. И как дешево можно от нас получить это сча-

стье – для этого не нужно ни бороться, ни любить! Притом счастье это, обработанное нашими руками, так гладко, тепло и комфортабельно! В жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче. Раненый боец, уверяю вас, совершенно не замечает своей красивой позы, а только ощущает ужасно неприятную боль в ране, когда человек гибнет в правой борьбе, он вовсе не окружен тем всеобщим сочувствием, которое возбуждается к нему в читателях нашим изображением этой борьбы.

О, счастье их велико – счастье побежденных и измученных, но горячо верящих в грядущую победу... Но это счастье отличается от вашего счастья больше, чем лесной пожар от потрескивающего в камине мирного огонька. Есть они, есть эти люди, суровые и бодрые, но – неужели это случайность? – как раз для них-то мы совершенно ненужны и в лучшем случае представляем лишь приятный десерт. А за десерт кто же станет так восторженно благодарить! Так благодарят лишь за хлеб, дающий жизнь... И вы благодарите нас именно за даваемую вам жизнь, которой нет в ваших собственных душах, за ту сытость, которую

вы испытываете благодаря нам. Но ведь эта сытость – язва, насмерть убивающая душу, и получать за нее благодарности – самое тяжкое оскорбление!.. Что можете вы еще пережить в жизни? Художники – начиная с Толстого, Гюго, Достоевского и кончая нами, малыми – дали вам легко и приятно пережить все самые тяжелые душевные катастрофы. И вы ими пресытились. Вы устали бороться, не боровшись, вы устали любить, не любивши. Вы всё пережили бездеятельным чувством, – и что же дивиться, что в суровой жизни вы скисаетесь быстрее, чем молоко во время грозы?

"Все это жестоко и несправедливо, – скажете вы. – Мы чувствуем светлые искры, зароненные в наши сердца, и за эти-то искры и благодарим"... Но в таком случае позвольте, господа! В чем же проявились эти возженные искры? Чем заслужили вы право благодарить за них и... и чем заслужил я право принимать ваши благодарности? Это-то последнее, может быть, самое важное из всего; самое важное то, что здесь мы с вами тесные союзники. Жизнь вызывает в нас порыв броситься в бит-

ву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик и несем его к вам... Давно сказано: "Слово писателя есть его дело". Может быть! Но суть-то в том, что дело это все-таки остается лишь словом, и в душе мы с вами прекрасно понимаем всю чудовищную неестественность этого дела-слова. Понимаем и молчим, потому что так выгоднее и приятнее. Там внизу дико бурлит и грохочет громадная жизнь. Наши арфы отзываются на этот грохот слабым, меланхолическим стоном и будят гармонический отклик в струнах ваших душ. Получается нежная, прекрасная музыка, и на душе становится тепло и уютно. Но неужели же вы не чувствуете, сколько душевного разврата в этой музыке, неужели вы не чувствуете, что принимать за нее благодарности стыдно? Нет, господа, простите, – я не совсем еще потерял стыд, и вашей благодарности я не принимаю!..